

лении в партию не думает ни один. Могут возразить, что я встречаюсь с какими-то ущербными людьми, но, как ни странно, они совершенно нормальны и, что очень важно, исключительно талантливы. Человеческие отношения формируются не только на основе партийной принадлежности, поэтому они терпят меня в своей компании, более того, относятся ко мне с доверием, и потому в моем присутствии откровенны. Когда они высказывают не совсем верные взгляды на первую республику, на 1945 год, на Февраль, на Советский Союз, на наши союзнические отношения с СССР, на западную демократию, я спорю с ними. В то же время я спорю и за них, и от их имени. Их иллюзии и скепсис порождены тем, что этой молодежи, да и всем другим способным думать гражданам нашей страны, до сих идеи навязывают авторитарно, что они не генерируются в свободной дискуссии путем обмена мнениями. Тот факт, что четыре наших писателя — двое побывавших в Израиле и двое — в Объединенной арабской республике, не получили возможности высказать свои взгляды на страницах газеты „Литерарни новини“ из опасений, что это поставит под угрозу репутацию правительства, занявшего из высших интересов однозначную позицию, лишь еще раз иллюстрирует эту нашу действительность. Однако в странах буржуазной демократии, которую мы называем марионеточной, иногда даже имея для этого некоторые основания, выступления на страницах газет со взглядами, отличными от официальных, дело будничное. В результате в этих странах наблюдается политическая активизация молодежи, довольно похожая на активизацию моих сверстников в молодости, когда, кстати говоря, у нас в первые послевоенные годы был совершенно свободный обмен мнениями...

Я снова вернулся к теме, с которой я начал и которой хочу закончить свое выступление. Государство — это государство, даже если речь идет о социалистическом государстве. У государства есть свои функции и обязательства, которые разумный гражданин должен признавать. Но все же не следует забывать, что мы когда-то осуществили какую-то революцию, которая должна была реализовать самые смелые мечты человечества и в результате которой человек должен был стать свободным.

НОВЫЕ КНИГИ

Тереза Торанская
Якуб Берман

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПО-СОВЕТСКИ*

II часть

— Что бы вы сделали с Миколайчиком, если бы он не бежал?

— Он не остался бы на своем посту. Это было очевидно. Но я не ожидал, что он сбежит. Мы как раз принимали здание Госплана, когда кто-то сказал мне о побеге Миколайчика.

— После разгрома Польской крестьянской партии (ПСЛ) пришла очередь Польской социалистической партии (ППС), и после расправы с Ясным-Завадским и Конопкой настала очередь Гомулки?

— Нет, это не так. Первое столкновение с Гомулкой произошло не из-за его выступления о роли, которую играла ППС, а на год раньше. Осенью 1947 г. Советский Союз выступил с инициативой создания Коминформа. Эта инициатива преподноси-

* Из книги Терезы Торанской „Они“. Этот сборник интервью с бывшими польскими коммунистическими деятелями был издан в Польше в неподцензурном издательстве „Przedswit“. Интервью с Берманом печатается с небольшими сокращениями.

лась не как попытка возродить Коминтерн, а как создание инструмента для координирования деятельности всех партий по принципу единомыслия, в отличие от Коминтерна, где господствовал принцип подчинения большинству. Сначала у Сталина побывал Гомулка, а потом я. Я тогда ездил в Кисловодск отдохнуть и остановился в Москве. Сталин узнал об этом и пригласил меня в Кремль. На этой встрече присутствовали члены Политбюро Жданов, Молотов, Ворошилов, а также Фурцева. Меня посадили рядом со Ждановым. Я с удивлением заметил, что Жданов со Сталиным на „ты”, а считалось, что Stalin на „ты” только с Молотовым и лишь наедине.

Подали чай. Я сразу понял, что это не просто дружеская встреча, хотя Stalin был чрезвычайно любезен. Говорил в основном Stalin. Он сказал, что предстоит совещание компартий и об этом будет опубликовано коммюнике. На совещании будет основано Информбюро. Ворошилов предложил созвать совещание в Крыму, желая, вероятно, имитировать Ялту. Другие же предложили Польшу. Я не возражал, и все остановились на Польше. Ни мне, ни Гомулке Stalin не сказал, какую роль должно будет играть Информбюро. Он только подчеркнул, что в сложившейся международной обстановке из-за стремления Америки прибрать всех к рукам нужно сконцентрировать силы. Это было веским аргументом. Ведь Америка тогда действительно наступала. Нужно было сомкнуть ряды и дать отпор. Информбюро создавало возможность объединить компартии и страны социалистического лагеря для борьбы с вражеской агрессией. Идея была правильной, тем более, что Stalin заверил меня, что во внутренней политике партии будут совершенно самостоятельны и независимы. При таких обстоятельствах я не увидел в идее создания Информбюро ничего такого, что меня бы насторожило. Никакого ограничения свободы наших действий.

После беседы я написал докладную записку Гомулке и уехал отдохнуть. Я знал о подозрениях Гомулки, что идея создания Бюро могла преследовать и другие цели, кроме тех, о которых нас уведомили. Мы предполагали это. Но подозрения одно, а факты — другое. Факты же выглядели довольно безобидно.

Совещание состоялось в Шкллярской Поренбе. От польской партии в нем участвовали Гомулка и Минц. Я присутствовал в качестве советника. Происходившее на совещании совершенно

не соответствовало тому, о чем нам говорил Stalin. Гомулка первничал. „Stalin обманул меня, — сказал он, — мы будем голосовать против создания Информбюро”. Тут я перепугался. Я ведь понимал, что будет, если Польша проголосует против. Придется либо прекратить совещание, либо перенести его на другой срок. Я пытался объяснить Гомулке положение. „Пойми, это же полный раскол, это нарушит соотношение сил; пойми, что будет означать нарушение Польшей единства социалистического лагеря. Это будет означать измену Советскому Союзу!..”. Не стоит объяснять, какие несчастья свалились бы на нас.

— *Какие?*

— Нашу руководящую группу послали бы к черту, а власть перешла бы в руки страшных людей. Лучше об этом не думать. Я не мог переубедить Гомулку. Он вел себя как ребенок, который не понимает, на каком свете он живет, и отказывается считаться с реальностью. У него были комплексы, которых он не мог преодолеть. Я сел в машину и поехал в Варшаву. Собралось Политбюро. Я доложил об обстановке. Мы понимали, что и мы ответственны за конкретные решения этого совещания. Мы можем настаивать на изменении не устраивающих нас формулировок, и так мы и поступали, но в принципе мы должны быть солидарны со всеми. Мы воспротивились Гомулке и решили голосовать за создание Информбюро и за предложенную Советским Союзом резолюцию, хотя и с некоторыми оговорками. Гомулка вынужден был подчиниться нашему решению.

— *Все остальные делегации были за?*

— Естественно. Особенно Джилас. Теперь он храбрец, а в то время он послушно выступил против французской и итальянской компартий за то, что после поражения Германии они не боролись за власть и разоружили свои партийные милиции. Спор о том, разоружать их или нет, состоялся раньше и был решен с согласия и даже инициативы Москвы — было принято решение разоружить. Но во время совещания Джилас сделал вид, будто о согласии Москвы не знает, и громил обе компартии за такое решение.

— Почему?

— Чтобы их запугать.

В перерыве между заседаниями произошло мое столкновение со Ждановым. Я сказал ему, что мы должны вернуться к решениям VII Конгресса Коминтерна, который в 1935 г. прокламировал Народный фронт, и не выступать с резким осуждением социал-демократических партий, так как именно они могут помочь укрепить позиции компартий в Западной Европе, а Западную Европу необходимо оторвать от Америки.

В этой дискуссии со Ждановым я как бы продолжил мысли докладной записки о взаимоотношениях в послевоенной Европе. Эту докладную я написал в августе 1943 г. для Тольятти. Я писал, что после войны нашей стратегической целью будут тесные экономические и культурные связи с Западной Европой, необходимые для предохранения Западной Европы от американского влияния. Я предвидел, что после войны Америка станет могучей державой и начнет борьбу за подчинение Западной Европы. Так оно и случилось. Об этом свидетельствует „план Маршалла“, который обошелся Америке очень дорого, но зато принес ей огромную пользу. Тольятти мне не ответил, но я не сомневаюсь, что он рассказал о моем меморандуме русским. Так вот об этом я заговорил со Ждановым во время перерыва на совещании в Шклярской Поренбе. Жданов довольно грубо ответил: „Не умничайте. Мы в Москве лучше знаем, как применять марксизм-ленинизм“. Я промолчал, и на этом беседа закончилась.

Во время совещания кто-то предложил, чтобы штаб-квартира Информбюро была в Варшаве. Но мы набрались смелости и отказались, сославшись на то, что Польша переживает серьезные экономические затруднения, что как раз сейчас ведутся с Америкой переговоры о займе и возвращении золота, которое находится в руках польского эмиграционного правительства в Лондоне, и потому нам неудобно иметь штаб-квартиру Информбюро в Варшаве. Мы просто не хотели влезать в дело, которое Западу будет явно не по душе. Тем более, что мы не знали, как вообще сложится судьба Информбюро.

— Если бы Информбюро находилось в Варшаве, вы могли бы влиять на его решения?

— На это никак нельзя было рассчитывать. Советская делегация всегда в состоянии навязать свое решение. Мы не дети и мы знали, что если Информбюро будет находиться в Варшаве, советские все время будут приезжать и лезть в наши дела, может, у нас не так нагло, как в других странах, — мы их приемы знаем, но все же мы предпочли не брать на себя всей тяжести этой затеи. Тем более, что мы не знали, в каком направлении все это покатится и какие решения будет принимать Бюро. К тому же, мы не хотели, чтобы все внимание сосредоточилось на Варшаве, чтобы ответственность за всю эту затею легла на нас. Если бы мы согласились, мы вынуждены были бы вести „двойную“ игру, а мы ни в коем случае не хотели обманывать русских или поступать по отношению к ним нелояльно. Естественно, мы были заинтересованы в осуществлении наших решений, но не ценой обмана. Поэтому для нас было выгоднее принимать участие в работе Информбюро на равных началах с другими, но не как ведущая партия. К тому же, мы уже тогда верно предполагали, что вся работа Коминформбюро ограничится антиамериканской пропагандой (так оно и произошло, причем результаты были очень скромными) и резолюциями. Информбюро оказалось мертворожденным ребенком.

— Ну, не совсем так. В июне 1948 г. Коминформбюро осудило Югославию, правонационалистический уклон в польской партии и обязало все партии осуществить коллективизацию сельского хозяйства. Ирония судьбы проявилась в том, что Т. Костов из Болгарии, который выступил с осуждением других компартий, всего лишь годом позже был казнен; выступившая с такими же осуждениями Анна Паукер из Румынии была казнена четыре года спустя, а участвовавший в этих осуждениях Сланский из Чехословакии осужден и казнен в том же году, что и Паукер.

Если пренебречь мелкими деталями, конфликт с Югославией был порожден стремлением Советского Союза установить свой порядок в Восточной и Центральной Европе. В то время

предлагались различные варианты федераций, например, объединение Польши с Чехословакией. Мы были непрочь, но не хотели принуждать к этому чехов, а чехи, из-за того, что Польша гораздо больше, не выражали по поводу этого предложения никакого восторга, они были против федерации. Второй парой должны были стать Югославия и Болгария и не исключалось, что к ним присоединится Албания. Венгры были сами по себе. Но все это было на уровне разговоров, потому что и в советском руководстве не было единого мнения по этому вопросу. Вопрос федераций вызывал острые прения и споры. Сталин был за федерацию Польши и Чехословакии, но против объединения Югославии с Болгарией. У него были, по-видимому, свои расчеты. Димитров, с самого начала выступавший за федерацию с Югославией, оказался в неловком положении.

— И умер.

— Да, год спустя.

— Как и Костов.

— Костова, который тоже был сторонником объединения, расстреляли, но я не знаю, за это ли. Причин могло быть несколько. Димитров скончался нормально — естественной смертью. Не все, что говорят о Советах, правда. У них достаточно грехов и преумножать их нет надобности.

В это время произошел разрыв с Югославией. Я, правда, медлил с осуждением Югославии. А вдруг найдется компромиссное решение и можно будет обойтись без скандала. Длуский даже ездил в Белград, но все это оказалось напрасным.

— И вы осудили?

— А что было делать. Не могла же польская делегация вести себя как Гомулка в Шклярской Поренбе.

Через год активность Коминформа заметно снизилась. Насколько мне известно, в Советском Союзе тоже поняли, что в принципе это бюро ни к чему, что оно бездействует. Встречи происходили редко, выступления на них были совершенно се-

рые... Чтобы оживить Коминформ, Сталин предложил поставить во главе его Тольятти, но тот отказывался, объясняя, что принятие этого поста потребовало бы его постоянного пребывания в Бухаресте, а итальянская компартия не согласится отпустить его надолго, поскольку его личное присутствие в Италии исключительно важно. Тольятти повторил наш прием, но более ловко и успешно. После отказа Тольятти уже никто не сомневался, что Коминформ долго не просуществует. После смерти Сталина международное положение изменилось: окончилась корейская война, началась эпоха „венского компромисса“ и Бюро перестало действовать.

Гомулка не понимал нашей позиции. Он не понимал, что Бюро надо рассматривать как неизбежное зло, запастись терпением, подождать и думать не только о своей стране, а не забывать об единстве соцлагеря, ибо эти интересы неразрывны. Гомулка был обеспокоен тем, что деятельность Коминформа ограничивает автономию польской партии. Но затем у него возникла новая идея. После совещания в Шклярской Поренбе он предложил поехать к Сталину и потребовать подписать документ, гарантирующий наши западные границы. Он не понимал, что этим он оскорбит Сталина. Затем эта не была свидетельством его недоброжелательности к Советскому Союзу. Нет. Гомулка всегда был лоялен к СССР. В этом нет никаких сомнений. Но он не понимал, что Польша входит в сообщество стран, которое интересуется происходящим у нас, что Польша должна считаться с тем, что остальные страны хотят доказательств нашей лояльности как члена этого сообщества.

Гомулка не сумел защитить польскую внутреннюю и внешнюю политику без конфликта с Советским Союзом, у него не хватило для этого политического чутья. Он часто не умел правильно оценить людей, факты и обстановку. В этом сказывалось, что он не жил столь продолжительное время, как мы, в СССР. Правда, он учился в Союзе в партшколе и некоторое время работал во Львове директором маленького завода, но все же не успел ознакомиться со структурой советской власти, с тем, как она функционирует, и это мешало ему вести с ними дела.

— Он был там чужим?

— Гомулка просто не знал, чем все это пахнет.

— Зато приближенные Гомулки утверждают, что вы, Берут и Минц не знали Польши.

— Вздор. Не стоит даже спорить. В июне 1948 г. Гомулка решил выступить на пленарном заседании ЦК с докладом, который не был согласован с Политбюро. Я сделал ему замечание, предупредив, что так поступать не следует. Но Гомулка, как всегда, настаивал на своем. Тогда я предложил ему подчеркнуть в выступлении, что доклад отражает его личные взгляды, ибо в противном случае я буду вынужден заявить во всеуслышание, что мы с его взглядами не согласны. Гомулка так и поступил.

— Мы — это вы, Берут и Минц?

— Да. Позиция Гомулки была отклонением от партийной линии и признаком нарастающего конфликта. Тем более, что Гомулка, не отрицая существования конфликта, ни слова не сказал, когда он начался и каковы его причины, что именно привело к кризису в руководстве партии. Я велел вычеркнуть в стенограмме заседания предложение Гомулки поехать к Сталину за гарантией наших западных границ. Уж слишком это было компрометирующим заявлением.

— Что же такого страшного сказал Гомулка о ППС?

— Что надо высоко ценить традицию борьбы ППС за независимость.

— А не надо?

— Это зависит от того, какое место занимает борьба за независимость в программе партии. ППС, несомненно, внесла свою лепту в борьбу за независимость, но нельзя забывать, что общие положения программы ППС времен первой мировой войны соответствовали концепциям легионов (Пилсудского, — Ред.), а это значит, что ППС, как и пан Пилсудский, надеялась „выиграть” Польшу у одного из победителей. Коммунисты считали, что главное — это союз с рабочим движением России и револю-

ция, которая вспыхнет там и принесет с собой надежду на освобождение страны и создание независимого Польского государства...

* * *

— 25 августа 1948 г. во Вроцлаве начался Конгресс интеллектуалов — защитников мира. Инициатором его был Ежи Борейша. С этим конгрессом он связывал большие надежды. За три недели до начала работы конгресса Борейша писал мне: „Если нам не прикажут прикрыть все за день до начала и если из Советского Союза приедет делегация на подходящем уровне, то конгресс может стать крупным событием. А если мы умело подогреем климат внутри страны, то конгресс будет великолепным интермешю между одной симфонией фуриозо и второй, которую у нас ждут в самое ближайшее время.”

Получилось же совсем по-другому. Советская делегация перед отъездом во Вроцлав встретилась со Ждановым, который был тогда первым секретарем ленинградской парторганизации и любимчиком Сталина, единственным, кажется, членом Политбюро, который был со Сталиным на ты. Жданов, вероятно, дал делегатам соответствующие указания. И нам очень скоро пришлось узнать, какие.

На конгресс приехало около 500 делегатов из 45 стран. Это давало возможность превратить конгресс в событие первостепенного значения. Советская делегация, однако, решила сорвать конгресс. Она прибыла с текстами резких, агрессивных выступлений. Ее руководители требовали острых антизападных выпадов и от нас. Фадеев выступил более чем резко — по-хамски, чем обидел многих западных интеллектуалов. У них были основания для этого. Некоторые места его доклада были просто возмутительны.

Мы решили не печатать в польской прессе агрессивных, оскорбительных выступлений. „Литературная газета” печатала, а мы нет. Это было не единственным мужественным актом с нашей стороны. После выступления Фадеева многие западные интеллектуалы покинули зал заседаний. Тогда мы потеряли Хаксли (он выступил с протестом, уехал в Лондон и нам больше

никогда не удалось склонить его к поддержке коммунистического движения). Другие готовы были покинуть зал заседаний в любой момент. Вечером Борейша позвонил мне в Варшаву. Он был в отчаянии и просил помочь. Затем, обсудив положение с Берутом, я поехал во Вроцлав, чтобы оценить положение на месте. Я позвонил Молотову. Я пытался объяснить ему, что нет смысла срывать конгресс, что такой срыв нанесет делу только вред. Мы разговаривали минут 15, и у меня создалось впечатление, что между Молотовым и Ждановым существуют разногласия по этому вопросу. Во всяком случае, после моего разговора с Молотовым, из Москвы пришли новые инструкции. На конгрессе выступил Илья Эренбург. Он произнес речь, которая коренным образом изменила царившую на конгрессе атмосферу. (На второй или третий день конгресса Жданов неожиданно умер.)

Конгресс интеллектуалов в защиту мира закончился успешно и стал символом силы движения за мир и прогресс на всех континентах, демонстраций единства и сотрудничества. Наши стремления обеспечить мирный ход конгресса, наше обращение к Москве, не могли существенно повлиять на новые политические веяния, но мы все же предприняли попытку затормозить „холодную войну“. Мы понимали, что она неизбежна, но пытались придать ей более европейский характер: мы пытались защитить не только нашу польскую инициативу, но и наш польский путь к социализму, наши культурные связи с Западной Европой. Моя концепция конгресса состояла в одном — не порывать с Западной Европой, не отрываться от европейской культуры, не допустить, чтобы Польша была привязана только к одному региону земного шара. Этого удалось достичь, но, к сожалению, не надолго.

— Несколько месяцев спустя, в мае 1949 г., на посвященной вопросам культуры партийной конференции вы сказали: „Мы должны воспитать отвращение к искусству, запятнанному формализмом, безыдейностью, цинизмом, отвращение к декадентскому капиталистическому искусству, к американскому космополитизму. Мы будем безжалостно бороться с фашизмом в искусстве и, в первую очередь, с реакционными католическими тенденциями“...

— Холодная война наложила тяжелый отпечаток на нашу культурную политику. Нет сомнений.

— Гомулка этого не понимал?

— Нет. Он совершенно не понимал нашей тактики. В конце августа 1948 г. началось очередное пленарное заседание, и я с горечью увидел, что мы находимся на грани двух эпох, что пора осознать, где расположена Польша, и заявить, с кем мы. Я увидел, что он не намерен соглашаться с решениями, которые мы считаем единственными правильными.

— С какими?

— Об ускоренном промышленном развитии, о переустройстве деревни — с решениями, направленными на ускорение строительства социализма, хотя так мы их тогда не называли. Этого требовала новая эпоха, и мы вынуждены были бороться, бороться не с Гомулкой, а за Гомулку — так я тогда характеризовал наши действия. Я просил его: не убегай в Сулеевку — это бессмысленно. Позже меня упрекали, что я был чересчур умным уже в 1948 г., поскольку предвидел, что Гомулка, как и Пильсудский, уедет в Сулеевку, а потом вернется, и что я, якобы, боялся этого. Я не только не боялся его возвращения, но вообще не думал об этом. Для меня Сулеевка была символом победы, единения, а не возвращения.

Тогда-то и разошлись наши с Гомулкой дороги, которые в будущем больше никогда не сходились. А жаль. Гомулка терзал себя, ломал, не будучи в состоянии принять какое-либо рациональное решение: он не хотел, а, возможно, действительно не мог понять наши решения. Он не хотел или был неспособен понять, что мы тоже стремимся защитить польский путь к социализму и сохранить „польское лицо“. Каждый из нас представлял себе этот путь по-разному, но цель у всех была одна и та же — сохранить самостоятельность, автономию Польши. Гомулка не верил или не хотел верить, что мы, как и он, вовсе не мечтаем о колLECTIVизации, о преследованиях католической церкви, что нам так же не хотелось осуждать Югославию или

вступать в Коминформ, созданный Сталиным. Если мы и делали все это, то только по необходимости, поневоле. Выбирая меньшее из зол. Непонимание Гомулкой обстановки доказывало его ограниченность, узость взглядов. Гомуля очень противоречивая личность, подобная героям шекспировских трагедий...

— Гомуля поддерживал коллективизацию?

— Нет. Но ведь и мы не хотели ее.

— Как же не хотели, если это записано в программе партии?

— Не хотели. И Сталин говорил, что не обязательно проводить коллективизацию деревни. Я помню разговор с ним в 1946 г., когда он сказал: „В нашей ситуации мы должны были провести коллективизацию, а вам не обязательно”.

— Правда? А два года спустя?

— В это время обстановка была уже совершенно иной.

— Она стала лучше, были даже отменены продуктовые карточки.

— Но неизвестно было, надолго ли. Ведь начиналась холодная война, необходимо было как можно скорее приступить к индустриализации государства и к его „социализации”. Но даже тогда Минц утверждал, что в Польше не будет коллективизации. В 1948 г. на собрании партактива он заявил, что у нас коллективизация не может быть повторением того, что было в СССР, потому что там не было сельскохозяйственных машин, а мы без таких машин вообще не можем приступить к коллективизации. Это означало, что если мы и приступим когда-либо к коллективизации, то только, когда у нас будут для этого финансовые возможности.

— Но ведь через два месяца...

— В Бухаресте состоялось заседание Коминформа, и я предложил поправку к резолюции о замене слова „коллективизация” на слово „артелизация”. Меня поразил Stalin, настаивавший именно на коллективизации. Он хотел идти напролом, не боясь слов, и мое предложение было отклонено. Вернее, мне пришлось снять его во имя сохранения единства. Гомуля знал, в чем дело. Знал он и о моем предложении, но он обозлился и упрекал меня в том, что польская делегация проголосовала за коллективизацию. Спыхальский — он был в Бухаресте с нами — пытался объяснить Гомулке, что, собственно, произошло, что Якуб предложил изменить резолюцию, но это оказалось нереальным. Но Гомуля взбесился. Нет и нет. Польская делегация не должна была голосовать за коллективизацию. Потом он утверждал, что защищал единоличные крестьянские хозяйства. Это правда, но ведь мы тоже защищали.

— Каким же это образом?

— Мы не хотели проводить коллективизацию по советскому образцу, посредством репрессий, насилия, жестокостей, на скорую руку.

Я не стану объяснять, почему в Союзе она происходила именно так. Это всем известно. Деформации, продолжающаяся долгие годы осада. По сути, они и привели к вырождению первоначальных идей. Коллективизация, как всякая реформа, обходится дорого, и кому-то приходится расплачиваться. Средства на это можно получить от промышленности, но в СССР это было невозможно, потому что часть средств, которые можно было выделить на производство или для деревни, шла на вооружения, что вело к падению и без того невысокого уровня жизни и темпов технического прогресса. Нельзя было еще больше усилить лежавшее на рабочих бремя. Именно поэтому коллективизация в СССР была осуществлена целиком за счет деревни.

— Скольких жертв она стоила?

— Не знаю. Но знаю, что все, что происходило, было драмой. Мы не хотели этого, и резолюция Коминформа давала нам

возможность провести коллективизацию по-нашему. Мы решили тогда использовать три вида коллективного хозяйства — полностью коллективизированное, полуколлективное и промежуточное. Я вовсе не утверждаю, что придуманные нами варианты были безошибочными, но все-таки они были новыми, более рациональными, и их можно было совершенствовать.

Наиболее рациональной казалась нам возможность дать крестьянину выбор, в какой тип хозяйства он хочет вступить: в первый, второй или третий — более льготный, который позволял сохранить большую часть личной собственности и в котором крестьянину предоставлялось определенное время для решения, хочет ли он вступить в коллективное хозяйство или нет, согласен ли лишиться права на владение землей или нет.

— А вы что, сами не знали?

— Знали, что сначала не захочет — это правда. Знали, что для крестьян коллективизация — пугало, что они боятся ее и что не так просто отобрать у крестьян землю.

— Которую недавно торжественно разделили между ними, не правда ли?

— И все-таки крестьяне в Венгрии и Чехословакии с этим смирились. Можно жить и без личной собственности, можно это в себе преодолеть.

— Но зачем?

— Чтобы жить лучше. Мы хотели, чтобы крестьянин на собственной шкуре убедился, что работа в коллективном хозяйстве дает ему возможность жить лучше, что там он перестанет быть рабом и труд его не будет столь рабски тяжелым, что стиль жизни приблизится к стилю жизни рабочего, что он окажется в иных условиях — будет работать 8 часов, получит отпуск. Все будет по-другому. Вот сейчас смотрю, как живут крестьяне, беседую с ними. Я не говорю о богатых. Тем всегда хорошо. Я говорю о среднезажиточных и бедных, ведь они живут бедно.

Моего хозяина зовут Баан. У него 12 разбросанных в разных местах клочков земли. Это же мука работать на них. Да и чего стоит его работа. Ведь не въедешь трактором на 12 клочков — это раздробление просто несчастье нашей деревни. Кроме недостатка сельскохозяйственных машин, именно раздробление земли лишает нас каких-либо шансов рационально организовать сельское хозяйство. Поэтому мы думали о кооперативах, при помощи которых можно будет объединить землю.

— Это должно было стать первым этапом?

— Это должно было стать выходом из положения для одного-двух поколений. Мы ведь знали, как трудно — даже самыми вескими аргументами — убедить крестьянина отказаться от земли. Он должен сам додуматься до этого. Поэтому мы хотели, чтобы крестьянин понял все преимущества коллективного труда, чтобы он понял, что именно коллективный труд освободит его от непосильной работы и откроет перед ним перспективы новой жизни. После этого мы планировали расширение приусадебных участков, как в Венгрии. Крестьянин чувствовал бы, что владеет клочком земли, а государству от этого была бы только польза. В Венгрии половина молочных продуктов и все фрукты производятся на индивидуальных участках. Ведь мужик выкапывает из них все, что можно. И у нас крестьяне получали бы немалую прибыль в дополнение к заработкам в колхозе.

— А что они имели бы от колхоза?

— Сельскохозяйственные кооперативы должны были получать дополнительные ассигнования. Но ведь за прогресс нужно платить. Чтобы доказать преимущество коллективного хозяйства над индивидуальным — нужно доплатить. Но это стоит делать, если в будущем удастся получить пользу. Уже сейчас в тех нескольких кооперативах, которые уцелели, люди живут лучше, чем в обычной деревне.

— Значит, по-вашему, голодная смерть по крайней мере 7 млн. крестьян во время советской коллективизации была результатом заботы о человеке?

— Скажем прямо. Мужик тоже может „схватить за глотку”, если в деревне у нас не будет никакой опоры. Мы не должны попасть в зависимость от индивидуального хозяйства. Почему мы сейчас так барахтаемся, почему мы не можем найти выход из положения? Потому, что не хватает производимого в стране зерна. Нам приходится убеждать крестьян, чтобы они дали нам зерно.

— *А на Западе дают?*

— Потому что производительность труда там всегда была высокой.

— *А почему не в Советском Союзе?*

— Коллективизация — хорошая вещь, если проводить ее в нормальных условиях, с соответствующим оборудованием и необходимыми для капиталовложений средствами, то есть, если не коверкая идею, думают о том, как превести ее в жизнь разумно и дешево. Можно при этом искать и параллельный путь, который позволил бы центральной власти найти выход из трудного положения. Гомулика в 1956 г. это, наконец, понял, но, не имея возможности возродить артели, решился на совхозы. Гомулика сам убедился, что наличие артелей или совхозов представляет определенную свободу действий, гарантирует поставки хлеба, независимо от отношения крестьян к власти. Правда, с совхозами тоже не вышло.

— *Польские крестьяне оказались более упорными, чем венгерские и чешские?*

— Нет, это мы оказались более гибкими...

— *Как же это так?*

— Без порыва, без энтузиазма, без молодежи — все выходило не так, как надо.

— *Но ведь молодежь шла за вами?*

— Да, но мы не хотели идти напролом и принимали во внимание соотношение сил в деревне.

— *Значит, вы отступаете перед силой?*

— Это значит, что мы считаем необходимым действовать осторожно, медленно идти вперед, убеждать, объяснять пользу...

— *Как в Грифицах?*

— В Грифицах нашлись доктринеры, сверхстарательные, они перегнули палку. Слишком уж прижимали крестьян. Хотели похвастаться показателями и стали применять насилие, а по отношению к самым упрямым — репрессии. Это противоречило нашим намерениям. Мы не хотели — и практика показала, что мы были правы — коллективизировать все хозяйства сразу. Мы не хотели мириться с такими методами и неоднократно осуждали их на пленарных заседаниях ЦК.

— *Только один раз.*

— Ничего подобного. Мы много раз говорили, что в Польше коллективизация не будет проводиться насильственно, устроили показательный процесс над теми, кто злоупотребил властью и полномочиями в Грифицах.

— *Сколько же коллективных хозяйств вам удалось создать?*

— Не так много. Коллективизировано было 10, может, 12 или от силы 13% крестьянских хозяйств, и не было указаний, что этот процент увеличится. Позже, в 1956 г., все эти хозяйства самораспустились в течение нескольких дней, даже очень перспективные хозяйства. Я не осуждаю это, в определенной степени это было неизбежно, однако начался этот процесс, я в этом уверен, по сигналу сверху.

— 1949 г. Деревня и церковь неорганизованно, но отчаянно сопротивляются. Все видные деятели движения за независимость уже в тюрьмах. Перестала существовать ПЛС (крестьянская партия), не осталось больших частных магазинов, были распущены независимые общественные организации и профессиональные ассоциации, не стало самостоятельных ремесленников, не осталось ни одной независимой газеты. Партия контролирует все сферы общественной, культурной, научной жизни. Партия повсюду. В яслях, на заводах, в больнице, даже в похоронных бюро. В это время уже никто и ничто не угрожало партии извне, и она могла под руководством ведущей „тройки“ — Берут, Берман, Минц — строить в Польше социализм. Не так ли?

— Нет, это неверная картина. Пленарное заседание ЦК о бдительности, которое состоялось в ноябре 1948 г. и на котором я не выступал, безусловно, наложило отпечаток на нашу политику. Из ЦК были выведены Гомулка, Спыхальский и Клишко. Наступило трудное время, которое продолжалось до самой смерти Сталина. Но и Сталин не был только черным пятном, как о нем говорят сейчас, вовсе нет. Не все, что мы делали, было правильным, было допущено много ошибок. Я не отрицаю, что их можно было избежать. Но дело не в этом. Не следует рисовать те годы только черными красками, утверждать, что все, что тогда происходило, было результатом насилия. Ведь это были также годы великих надежд на создание новой Польши, годы трудового порыва и энтузиазма. Шестилетний план должен был превратить аграрную неразвитую Польшу в современное мощное индустриальное государство. Сейчас мы можем выражать сомнение относительно того, следовало ли проводить индустриализацию такими темпами. Но тогда эти темпы были обусловлены международным положением, хотя, возможно, это было ошибкой, поскольку результатом было резкое падение жизненного уровня. Но ведь этот план был одобрен народом, люди хотели работать и работали, и уставали только тогда, когда есть было нечего. А еды не хватало потому, что страна была разрушена, и мы строили заводы голыми руками, накапливая необходимые для этого средства за счет рабочих. Когда капиталовложения превышают 25%, а так было в те годы, это всегда происходит

за счет жизненного уровня. Западная Европа накапливала капитал за счет эксплуатации огромных богатств колоний. А так как небо нам никаких средств не послало, нам нужно было их накопление обеспечить.

— Почему же вы тогда отказались от плана Маршалла?

— Этот план вызвал определенные сомнения у всех, в том числе и у Советского Союза. Кое-какую помощь мы получали еще в 1947 г. и сразу после войны, до официального объявления плана Маршалла, и нам удалось получить немало. Но потом все же перевесили соображения о необходимости отказаться от этого плана. Ведь вслед за деньгами идет зависимость от дающего и за любую помощь приходится расплачиваться. На обмане далеко не уедешь. В глобальных масштабах обмануть нельзя. Мы все это видели и понимали. Перед нами встал трудный вопрос: строить за счет потребления — а это могло вызвать недовольство населения и действительно вызвало в 1956 г., или не строить и лишить Польшу каких-либо перспектив. Мы приняли решение — динамичное развитие. Таким образом, у нас был лишь один выход — маневрировать так, чтобы этот процесс не слишком сказался на уровне жизни, и в то же время строить как можно более крупные заводы, которые в скором будущем начнут приносить прибыль.

— Программу равномерного развития, которую предлагали профессор Бобровский и Польская социалистическая партия, вы отвергли?

— Да. Началась „холодная война“, и это вынудило нас ускорить процесс индустриализации и повысить норму накопления. Было ли это ошибкой? Возможно. В некоторых случаях, это было вызвано необходимостью, в некоторых — неправильными расчетами и прогнозами.

— Какая доля валового национального дохода шла на военные нужды?

— Довольно большая. Точных цифр я не помню, но, по всей вероятности, 15%, а, может, и больше. Уклоняться от этих расходов можно было только до определенной степени, дальше этого предела уже нельзя было двигаться. Оставалось маневрировать. Тут проявился талант Минца. Несомненно, он был самым способным из нас. Наши „товарищи“ без обиняков заявляли нам: раз мы сообщники, вы не можете уклониться от своих обязанностей.

И они были правы. Бывают моменты, когда нет возможности урезать затраты на вооружение, напротив, их необходимо увеличить. Выхода нет. Или вы партнер, или нет.

— Но ведь вы не были партнерами, даже в теории!

— После смерти Сталина мы стали более независимыми. Поэтому я и разделил историю на два этапа — при жизни Сталина и после его смерти. Но даже при жизни Сталина мы старались сохранить автономию Польши. Именно так мы понимали польский путь к социализму.

— Но ведь вы не обеспечили ни автономии, ни независимости Польши.

— Неправда. После 1949 г. имелись признаки ограничения нашей самостоятельности, а наши попытки защитить ее тормозила эскалация „холодной войны“ и угроза со стороны Соединенных Штатов. Но даже в такой обстановке мы все же старались кое-что предпринять. Что происходило тогда? Америка пыталась захватить всю Европу, покорить ее и стать чем-то вроде диктатора. Американцы были заинтересованы в капиталовложениях в Европе — отсюда план Маршалла, который должен был обеспечить зависимость Европы от Америки. Америка также стремилась отколоть социалистические страны от Советского Союза. Таковы были американские намерения, с которыми не могли смириться ни мы, ни Советский Союз. Особенно мы, потому что для нас это было катастрофой — и с государственной, и с идеологической точек зрения. Разрыв с Советским Союзом означал бы утрату западных земель, и Польша снова превратилась бы в Вар-

шавское княжество. Да, да, в Варшавское княжество — других перспектив я не вижу.

— А кто бы у нас забрал эти западные земли, Америка?

— Германия. Естественно, Германия. Америка немедленно сделала бы ставку на Германию и направила бы свои усилия на объединение двух немецких государств. И если бы Америке повезло, то на сцену снова вышла бы агрессивная, прожорливая Германия, которая была бы еще опаснее, так же, как намного опаснее Германии Вильгельма оказалась гитлеровская Германия. Для нас это было бы очень серьезной проблемой, а, возможно, и новой угрозой. Объединенная Германия, естественно, была бы проамериканской, и значит, враждебной Советскому Союзу и нам. Американский плацдарм на территории, граничащей с СССР, неизбежно привел бы к столкновению, поскольку возникла бы угроза подчинения всей Европы Америке. Нам пришлось бы расплачиваться первыми, потому что мы — первые на очереди. Мы ведь посередине, и нас раздавили бы в лепешку. И вот тогда у нас отняли бы западные земли. Логика истории подтверждала, что немцы к этому стремятся. Стратегия Аденауэра была направлена на то, чтобы в подходящий момент отнять у нас эти земли. Так бы это и было. Я уверен. Посмотрите, сколько лет прошло после окончания войны, а проблема Львова и Вильнюса все еще остается животрепещущей для поляков. И такой же болевой точкой является вопрос западных земель для немцев. Ведь на этих землях жили миллионы немцев, они там родились и росли. С какой же стати, ради чего они должны были забыть про эти территории. Я убежден, что, подвергнись случай, немцы потребовали бы эти земли назад и, наверняка, без какой-либо компенсации за них. И это логично. Ведь мы не можем требовать от них начать войну с Советским Союзом за наши Вильнюс и Львов, тем более что население этих городов резко изменилось. Что осталось бы тогда от Польши? Ну, что? Варшавское княжество. Можно смириться и с таким исходом, но разве он удовлетворил бы гордость поляков, державную идею польского народа? Эта проблема была актуальной на протяжении всех послевоенных лет. Не знаю, как можно было этого не

понимать. Ведь думать надо не в узком масштабе Польши, а в масштабах европейских, всемирных. Польша — это лишь пешка в игре, и поэтому трудно говорить о подлинно автономной политике. Нужно четко определить, на какой стороне мы и вычислить результаты такого решения. Другого выхода нет. В этом и заключается историческая возможность, которой мы можем воспользоваться или нет. Мы — коммунисты, мы взяли все в свои руки, и мы сделали свое дело. Если бы не было коммунистов, возможно, другие сделали бы это, но мы были, и в обстановке, которая существовала тогда, мы сумели ополячить западные земли, навести в них порядок, экономически объединить с нами. Нашим главным козырем было новое лицо Польши. Когда поляки это поймут, не знаю. Я не говорю о массах простых, темных, необразованных, я говорю о просвещенных, разумных, обладающих логическим мышлением польских интеллигентах. Я надеюсь, они поймут, что в противном случае, при другом соотношении сил Польша оказалась бы в проигрыше, и что только нам удалось воспользоваться историческим шансом. Когда такой шанс повторится, не знаю. Я не пророк, да и опасно предсказывать. Ведь все в развитии, все еще будет модифицироваться, изменяться, развиваться. Я же могу сказать одно: мы, коммунисты, спасли Польшу. Если бы не мы, она стала бы Варшавским княжеством, крохотной центральноевропейской страной без перспектив развития, или ее вообще бы не было.

— Уточним. Крестьянская партия (ПСЛ) тоже хотела превратить Польшу в карликовое государство?

— Они жили в мире иллюзий, как и экстремисты „Солидарности”, не знающие, куда они идут. Если бы они знали, то, наверное, отступили бы назад. То, о чем они думают, невозможно осуществить. У нас, коммунистов, были гарантии Советского Союза относительно западной границы. А что было у них? Иллюзии, мечты, что разрыв с Москвой возможен, и что можно добиться подлинной независимости Польши. Каждый политик обязан реально взвесить возможности, а они не были в состоянии этого сделать. Вы не знаете, до чего бы они довели Польшу, а я знаю. Они лишили бы Польшу западных земель, хотя, возможно,

не сразу, разрешив нам остаться на них некоторое время. Но в конечном итоге мы бы их потеряли.

— И социалисты тоже этого не понимали?

— Тоже.

— И Гомуля?

— И он не понимал. Если бы он понимал, то не протестовал бы против создания Коминтерна, потому что и это могло обернуться против нас катастрофой. Уже тогда это грозило нам утратой западных земель в пользу ГДР.

— ГДР тогда еще не было.

— Ну, что ж, тогда в пользу кого-либо другого, не буду строить гипотез.

— Но они очень важны, ибо ваши утверждения исходят из предпосылки, что Польша воскресла благодаря щедрости или великодушию Сталина, а не потому, что так решила Великая четверка. Stalin не был в состоянии урезать территорию Польши даже при вашем согласии, как и Америка не была в состоянии без риска войны объединить Германию без согласия не только СССР, но и Франции, Англии, Бельгии и Голландии.

— Мы были на волоске от третьей мировой войны. Если бы Америка была уверена, что Польша стремится вырваться из соцлагеря, она наверняка предприняла бы что-либо.

— Что именно?

— Не знаю, что-то конкретное... А разве вы заинтересованы в войне? Разве вы не понимаете, что война была бы для нас страшнейшей катастрофой? Нас бы раздавили при первом столкновении.

— Знаю, в лепешку. Значит, никто ничего не понимал, а знали все только вы — Берман, Берут и Минц. Московская группа, как вас тогда называли?

— Сталин тоже знал и понимал это. Он разделял нашу озабоченность. В 1952 г. он пытался выдвинуть концепцию объединенной, но нейтральной Германии, то есть объединенной, но дружески настроенной к нам и нейтральной. Ничего не вышло. Нам оставалось только одно — любой ценой сохранить фундамент, заложенный после второй мировой войны, ибо все попытки расшатать или разрушить его для нас вылились бы в катастрофу, и мы были жизненно заинтересованы в сохранении „статус quo”, согласованного в Потсдаме.

— Какой ценой?

— Естественно, высокой. Мы платили — возьмем для примера уголь.

— Меня интересует моральная цена.

— Что же было делать? Любое сопротивление Сталин считал нарушением лояльности, а это значит, что он снял бы с себя ответственность за наши дела. Перед нами был выбор: или разрешить Советскому Союзу поступать с нами по собственному усмотрению, так как мы расположены посередине и от СССР зависит, что будет с нами, или пойти с ним на компромисс в ожидании более благоприятных обстоятельств. Это не просто. Так или иначе, у Польши ни тогда, ни сейчас широкого выбора не было. Мы могли только сохранить облик Польши таким, каков он есть, это было нашей единственной возможностью. Ради этого шанса, ради этих границ стоило идти на уступки и жертвы. Жертвы — временное явление. Правда, пострадали отдельные люди, но облик Польши, ее величие — это база для будущих поколений.

— Неправда. База — это народ, его традиции, его культура — любая, и прогрессивная, и реакционная (по вашей термино-

логии), ибо культура формирует душу народа, а не границы. Вы же избрали третий и самый опасный путь — советизацию народа.

— Неправда? Нет, правда! Даже если мы широко перенимали советский строй, формы государственного устройства, советский опыт (что естественно, поскольку Советский Союз был единственной страной, в которой строился социализм, потому-то мы и пользовались опытом, и в этом нет ничего предосудительного), мы никогда не копировали Советский Союз автоматически. Напротив, мы всегда — подчеркиваю, всегда — старались по мере возможности сохранить автономию и сопротивлялись попыткам управлять Польшей на советский манер и слепо перенимать советский опыт. Мы всегда пытались защитить нашу самостоятельность в области культуры и экономики. Там, где мы считали это необходимым, мы сохранили автономию. Примером может быть католическая церковь. По отношению к ней мы заняли позицию полного невмешательства в исполнение пастырских обязанностей, что совершенно противоречило происходящему в России в отношении религии.

— К церкви мы еще вернемся.

— Но то, что мы признали многообразие мировоззрений тоже о чем-то свидетельствует. Мы вовсе не были абсолютно беспомощными и бессильными, мы влияли на события, мы пытались контролировать их. В то трудное и мрачное время мы старались маневрировать, идти в обход, приспосабливаться к обстановке. Мы не выполняли также всех рекомендаций советских советников в Польше. Они ведь предлагали — или „советовали” — арестовать десятки людей, а мы защищались. Нет, они не были у нас губернаторами, а мы не были столь послушными как наши соседи — чехи, болгары, венгры. Мы создали дисциплинарную комиссию для проверки обращения с заключенными, применяют ли в тюрьмах пытки; нам удалось сохранить жизнь генералу Татару и другим польским офицерам (в чем и моя заслуга). Мы не допустили смертных приговоров на процессах над коммунистами и не судили Гомулку.

— Тогда возникла идея Польши как 17-й республики?
— Ничего подобного.
— Предполагалось изменить гимн и герб государства.
— Неправда.

— Но в других социалистических государствах сменили?

— Может, память мне изменяет, но я не помню, чтобы мы занимались этим вопросом. Не исключено, что кто-то мог выступить с таким предложением, но мы, руководство, отвергли его.

— Говорят, сам Сталин, когда Берут выступил с таким предложением.

— Не исключено. Мало ли подхалимов? Они предлагали всякого рода затеи, когда стремились угодить. Зато у Сталина хватило ума не покровительствовать таким затеям. Он это доказывал не раз. В 1952 г., когда мы поехали в Москву обсуждать новую конституцию, мы показали ему преамбулу к ней, в которой говорилось, что в прошлом Польшу оккупировали две враждебные ей страны — Австрия и Германия. Редакторы конституции боялись упомянуть Россию, чтобы не вызвать недовольства Сталина. Сталин прочел. И тогда встал вопрос: упомянуть о царской оккупации или нет? Он предложил упомянуть. Промолчать — бессмысленно, а в упоминании царской оккупации нет ничего антисоветского. Он нам очень помог, и мы признали оккупацию царской России.

— Значит, спрашивали?

— А что в этом удивительного? У любого можно спросить совета, и это вовсе не свидетельствует о зависимости или пре-восходстве того, кого спрашивают. К тому же изменение в преамбуле и перечисление трех оккупантов принесло нам политическую пользу.

— Правда ли, что проект Конституции, который был послан в Москву, вернулся с 82-мя поправками?

— Ложь. Такого не было. Только в преамбуле.

— Господин Хайн не ошибается. Ведь он принимал участие в работах по редактированию Конституции.

— Я тоже принимал в этом участие. Были две редакции — партийная и правительственная. Во главе правительственной, в которой работал Хайн, стоял известный юрист профессор Размарин, а во главе партийной — я. Правда, я присутствовал не на всех заседаниях, но заключительный текст Конституции я видел, и я не помню ни одной существенной поправки. Если даже они и были, то незначительные, формального характера, о которых меня даже не информировали, ибо на характер Конституции они не влияли. Может быть, это касалось введения некоторых пассажей, аналогичных советской Конституции, которая, с точки зрения демократических принципов, была великолепно и либерально отредактирована, хотя эти ее черты часто стираются практикой. К сожалению... Так что если и были какие-либо изменения, то несущественные. Серьезной была только поправка к преамбуле, и мы приняли ее как жест Сталина, который пошел навстречу антирусским настроениям поляков, показав тем самым, что знает об этом.

— В обмен за это польские спортсмены обязаны были проиграть советским?

— А что, отказываться от состязаний?

— Нет, но не влиять на результаты.

— Да? Но ведь по ходу спортивных соревнований проявлялись старые антирусские и новые антисоветские настроения поляков, и не наша пропаганда была виновата в этом, хотя и от нашей я не был в восторге. Это было результатом перемен в стране...

— И за это надо было благодарить Советский Союз ежедневно?

— А что? Вообще не говорить? Избегать благодарностей? Да, я знаю, были такие господа журналисты и „деятели”, которые уж слишком усердствовали в своем восторге. Мы знаем таких. Каждый хотел показать, что с ним „все в порядке”. Я пытался образумить таких. Время от времени я организовывал пресс-конференции, хотя не всегда они были удачными. Может, и я не слишком умел беседовать с ними. Несомненно, что в нашей пропаганде было много глупостей, нелепого восторга, простодушия. Но ведь трудно было не писать о том, что благодаря Советскому Союзу в стране произошли серьезные перемены, или не вспоминать о том, что благодаря Советскому Союзу мы присоединили к Польше западные земли?

— Оставим эти земли в покое. Давайте поговорим о народе, для которого вы на советский манер придумали стахановское движение героев труда.

— Стахановское движение было подлинным, и борьба за производительность труда — это не пустой лозунг. Это лозунг, который с энтузиазмом подхватила молодежь. Естественно, сейчас над этим легко смеяться, превратив стахановское движение в карикатуру. Да и в то время кое-кому не нравились шеренги стахановцев на парадах. Но нельзя забывать, что эти люди работали с верой в то, что они творят великое дело. А потом, в 1956 г., некто Адам Важик написал „Поэму для взрослых”, пытаясь все облить грязью. Почему? Почему он писал, что там были гуляющие девушки? Даже если такие случаи бывали, так что?

— Об этом надо рассказывать.

— Мы сами боролись с отрицательными явлениями.

— Но в газетах писали только о положительных. Тошнило...

— Я не против критики. Сам критиковал не раз. Но критиковать надо умно. Умеючи. На Важика обрушился не только я, но и другие, например Ришард Стржелецкий. Отрицательные явления неизбежны. Разве развитие Европы в XIX в. происходило без них? Нет, было еще хуже. Нам удалось избежать эксплуатации детского труда — а ведь в прошлом это было массовым явлением: дети 10-12 лет строили индустриальную Европу. А мы это провели в условиях в десять раз более гуманных и справедливых, чем Запад. А еще Вайда с его фильмом „Человек из мрамора”. Могло быть, чтобы пригласили парикмахера сделать прически стахановцам? Да, могло. Я уже говорил, что были случаи примитивной и глупой пропаганды. Но ведь это отдельные эпизоды, а вовсе не характерные для эпохи моменты! Был и энтузиазм в работе и гордость успехами... Можно спорить, достаточно ли мы приложили усилий для усовершенствования стахановского движения. Можно было проводить его умнее, можно было кое-что изменить раньше. Возможно. Дело, однако, не в этом, а в том, что чего-то мы благодаря этому движению достигли. И многого. Без стахановцев не было бы ни Новой Гуты, ни возрождения Старовки (Старый город в Варшаве), да и сама Варшава — неплохой город — входит в перечень наших успехов.

— Нет сомнения, но Варшава могла быть еще красивее, еще лучше, если бы вы не отказали Корбюзье, который предложил включить в процесс подготовки планов возрождения Варшавы лучших архитекторов мира в рамках помощи и как признания героической истории Варшавы.

— Я не помню подробностей, но такое могло случиться. Однако Корбюзье и другие с огромным интересом наблюдали за реконструкцией Варшавы. Они приезжали, смотрели. Но мы не могли воспользоваться их услугами, так как в то время в Советском Союзе началась эра монументальных зданий с колоннами. Корбюзье стали считать слишком смелым новатором. Помню, я как-то поехал в Ленинград — город куда красивее Москвы. Меня сопровождал секретарь ленинградской парторганизации. На одной из улиц он показал мне дом, построенный

по планам (или советам) Корбюзье, и отозвался о нем без восторга.

— Назвал империалистическим?

— Нет, слишком новаторским. В Советском Союзе к тому времени Корбюзье уже развенчали. Его стали обвинять в чрезмерном модернизме. Наступила эпоха классических колонн, огромных построек.

— И чтобы угодить советскому руководству, вы подарили нам „Дворец культуры и науки“ вместо района жилых домов?

— Не верьте. У нас не было выбора. Когда Сталин предложил построить нечто вроде символа дружбы и помощи, Минц стал мечтать о районе жилых домов, но Сталин эту затею отверг, несмотря на то, что мы предложили назвать этот район его именем. В конце концов, он решил, что подарок-то от него, а ему хочется подарить нам нечто великолепное, огромное, неповторимое и символическое. Жилой район этим условиям не соответствовал, поскольку он был похож на другие жилые районы, и через некоторое время все бы забыли, кто подарил этот район и в честь кого он назван. Сталин хотел построить дворец, который был бы виден из любой точки города, где были бы расположены кино, театры и другие культурные заведения. Должен признать, что советские архитекторы очень старались, чтобы постройка была величественной. Они ездили в Люблин и Замоск — изучать польскую архитектуру средних веков и эпохи возрождения с тем, чтобы инкорпорировать некоторые элементы польской архитектуры в свой проект. Получилось-то не очень, но они старались и верили, что строят нечто такое, чего еще в мире не было. Дворец, между прочим, обошелся русским очень дорого, так как за все платили они.

— А мы им за это — наш уголь?

— Это правда. Мы поставляли им уголь даром или почти

что даром, но это мы избрали такой путь, который, по нашему мнению, был лучше, чем строительство совместных угольных комбинатов. А Советы предлагали именно это. Посыпая уголь, мы, в ожидании лучших времен, записывали и подсчитывали, и благодаря этому Гомулка смог позже предъявить счет. А если бы мы согласились на совместные крупные комбинаты, то мы утратили бы контроль над угольной промышленностью. Минц считал, что создание даже одного угольного комбината приведет к возникновению новых, и каждый из них поставит под угрозу наш экономический суверенитет. Минц очень ловко избежал этой угрозы, хотя совместные предприятия были созданы в Китае и Румынии. Попытки их создания были предприняты также в Чехословакии.

— Вам лично нравился Дворец культуры?

— Беруту нравился. Он больше всех нас интересовался архитектурой восстанавливавшейся Варшавы. Есть даже фотография, на которой сняты Берут, все политбюро ПОРП и архитекторы. Они рассказывают о своих проектах, а мы делаем замечания. Этот снимок дышит правдой, показывает отношение Берута к строительству Варшавы. Он глубоко интересовался им, часто говорил об этом и действительно давал советы архитекторам.

— Площадь Спасителя с урезанным куполом костела и Площадь на Распуты с Дворцом культуры — прямо как в Москве...

— Такие проекты были, но наши архитекторы вносили поправки и, в конце концов, от них отказались. Но это требовало умелых замечаний и нашего контроля. Затем Берута не всегда были удачными, а он был в свои затеи влюблена, как всякий. Но надо признать, что темпы и размах восстановления Варшавы — это его заслуга.

— Каким был Берут?

— Сталин уважал и ценил его и правильно сделал, поставив его во главе государства.

— Умный?

— Без сомнения, но...

— Недоучка?

— Не в этом дело. Он был самоучкой, но стремился к знаниям. Много читал. Неплохо знал литературу, интересовался астрономией, архитектурой. Но у него были непреодолимые комплексы. Он был совершенно лоялен по отношению к Советскому Союзу и фанатично верил в догму, а это влияло на его решения. В отличие от Лампе, Берут в молодости принадлежал к так называемому большинству, будто бы к более гибким, знакомым с принципами буржуазной демократии. Но впоследствии Лампе сумел освободиться от многих догм, а Берут с годами, наоборот, становился все более косным и не сумел избавиться от многих уже отживших принципов. Несмотря на это, мы были связаны крепкой дружбой, взаимной симпатией, и мы хорошо сработались. Берут часто давал мне читать свои доклады и речи и выступал с ними лишь после обсуждения со мной. Я часто вносил небольшие поправки, иногда кое-что добавлял, и он соглашался. Берут ценил мои советы. Редко случалось, чтобы он не воспользовался ими.

Мои отношения с Берутом были более тесными, чем с Минцем. Минц ни с кем не дружил. Он был суроват. Посмотрите на фотографию — это заметно. Но Минц был моим другом. Берут уважал его за светлый ум и знание экономики, которое часто нас очень выручало. Минц, несомненно, был очень умен, но и он ошибался, как и все мы. В первые же годы народной Польши Минц смело выдвинул на крупные посты довоенных специалистов, но позже отказался от этой политики. На него, как на всех нас, повлиял климат „холодной войны“ и подозрительности.

— Но ведь вы-то этот климат и насаждали!? Вы, Берут и Минц.

— Только в незначительной степени. Виновата была международная обстановка, „холодная война“, конфликт в Корее. Возник военный психоз, психоз подозрительности, психоз осадного положения. Такие же настроения господствовали в Советском Союзе. Там слишком раздули их, а это, в свою очередь, повлияло на положение в Польше... Это и стало причиной усиления репрессий со стороны органов государственной безопасности. В такой обстановке происходили бессмысличные аресты виновных и невиновных, причем поводы для арестов зачастую бывали совершенно абсурдными. Любая неудача на предприятии объяснялась вредительством. Все это было страшно, но стимул исходил от СССР.

— А у вас подхватили?

— Я не отрицаю нажима сталинского аппарата на наш и, естественно, результаты были жуткими. Но я уже тогда был убежден, что это временное явление, не имеющее ничего общего с сущностью советского государства, что оно результат сплетения исторических факторов и отношения Сталина к ним, и что когда-нибудь это все прекратится.

— Вы руководили тогда органами?

— Выдумки. Я только контролировал их деятельность в рамках руководящей „тройки“.

— Кто же решал тогда все вопросы?

— Всем руководил и все контролировал Берут. Если мнения не совпадали, то только в мелочах, а не по существу. Возможно, мне не следовало бы этого говорить, поскольку я не хочу оговаривать Берута, который был очень великодушен ко мне, и я ему за многое благодарен. Но в то время закрепился порядок, продолжавшийся и при Гомулке, что Первый доминирует над всеми членами политбюро. Все партии подчинились этому порядку во имя единства, которое является гарантлом силы. Считалось, что разногласия отражают внутреннюю слабость. В нашей

„тройке” Минц заведывал экономикой, а мне были доверены вопросы культуры, просвещения, высшие учебные заведения, Академия Наук, пропаганда, внешняя политика, идеология и контроль над органами госбезопасности. Когда Гомулка ушел, Берут обратился ко мне с предложением совместно курировать Министерство государственной безопасности. Я согласился, и, по-видимому, зря, потому что впоследствии во всем обвиняли меня. Я курировал органы, а Берут военную разведку, и все, что связано с разведкой, контрразведкой, борьбой с иностранными агентурами и шпионажем. Так распределяли ответственность и мы, и „они” (в СССР, — Ред.). В министерстве было более десятка отделов. В каждом — советник и коллегия, которая решала спорные вопросы. В случае особо серьезных разногласий или по поводу крупных дел обращались к Беруту или к „тройке”. Кроме коллегий в отделах, существовала коллегия на уровне Министерства. В нее входили министр, замминистры, начальники некоторых отделов. О результатах работы эта коллегия докладывала мне, Беруту или „тройке”, в зависимости от дела. Ко мне иногда за советом, иногда с докладом приходил министр Радкевич. Но чаще он бывал у Берута. Я же обычно встречался с замминистрами, особенно с Ромковским.

— А с Вознесенским, Скульбашевским — советскими полковниками, руководителями военной разведки и контрразведки, вы не были связаны?

— Они были у меня несколько раз, по делу, когда не могли попасть к Беруту или когда его не было в Варшаве. В сущности, я не курировал разведку и контрразведку, но иногда, особенно в отсутствие Берута, мне приходилось этим заниматься. К Минцу ходили из экономического отдела. Не мог же я разбираться во всем. Ко мне направляли дела незначительные. Более крупные решались на заседаниях „тройки” и у Берута. Я говорю это не потому, что хочу оправдать и обелить себя. Ошибок было допущено много и не все, принятые „с моей подачи” решения, были удачными. Но мне кажется, что многих мне удалось спасти. Когда подготавливались крупные судебные процессы, я старался воспрепятствовать их проведению или не допустить вынесения

смертных приговоров. Там, где мог, разумеется. Это было не так просто, поскольку часть дел касалась не органов, а разведки и контрразведки, а также потому, что влияние советских советников в стране было огромным и принесло большой вред. Много дел выходило, к сожалению, за рамки моих полномочий, а много было таких, к которым я не мог добраться. Так что несмотря на мои попытки кое-что сделать, это не всегда получалось. Руки были коротки. Я поставил перед собой две цели — без смертных приговоров и без организации судебных процессов над коммунистическими лидерами, и мне удалось обе эти цели осуществить. Первую, правда, лишь отчасти. Смертные приговоры были, правда, не в главных процессах над солдатами Армии Крайовой, а в менее крупных, до которых мое влияние уже не доходило.

— Давайте по очереди. Сразу после августовского пленума в 1948 г. был арестован Альфред Ярошевич, а месяц спустя Владзимеж Лехович — министр снабжения.

— Это дело до сих пор остается для меня неясным, и оно не расследовано до конца.

— Значит, Берут на третьем пленуме ЦК в 1949 г. справедливо кричал, что „результатом их деятельности было убийство Новотки провокатором, а также арест и гибель товарищей Финдера и „Яси” Форнальской, арест и гибель Янека Красицкого”?

— Нет. Никаких указаний на причастность арестованных к их гибели не было — все это догадки и вымыслы. Ярошевич и Лехович до войны работали во втором отделе Генштаба, т. е. в отделе обороны, занимающемся разведкой и контрразведкой.

— В том числе и агентами советской разведки?

— Этому нет доказательств. Во время войны они вступили в Гвардию Людову и Армию Людову и работали со Спыхаль-

ким. Когда тот после войны возглавил разведку и контрразведку, он взял их к себе. После 1948 г., когда время передышки закончилось и стала возрастать опасность проникновения врагов в эти органы, их биографии могли вызвать подозрение. Это вполне понятно, потому что в период опасности усиливается страх. Тем более, что подозреваемые вели себя странно. Имелись элементы провокации и даже вредительства. Органы стали выявлять сотрудников второго отдела, работавших там до войны, и Ярошевич и Лехович, стараясь выгородить себя, обвиняли других. Советники подхватывали их обвинения на лету и предлагали нам арестовать десятки людей, подозреваемых в сотрудничестве со вторым отделом. Круг подозреваемых все более расширялся.

— 104 человека — от тех, кто был в Армии Крайовой, до коммунистов.

— Это еще больше сгущало атмосферу страха. Ко мне попадали материалы следствия, в которых бывшие „двоечники“ (сотрудники второго отдела, — Ред.) обвиняли даже видных коммунистов. Мне представили список с фамилиями людей, которых я знал лично — их обвиняли в троцкизме. В СССР за троцкизм наказывали, значит, и мы должны были возбудить дело. Проводилось следствие — честно или нет, не могу сказать. Во многих случаях нам удалось замять дело, настолько абсурдными были обвинения. Естественно, при поддержке Берута. Но не так уж много я мог сделать. Не хватало материалов, чтобы доказать несостоенность обвинений. Подозрения были слишком туманными и запутанными, но их трудно было опровергнуть. Только время могло спасти людей. И мы пытались воспользоваться этим, оттягивая процессы.

— Лехович и Ярошевич получили приговор после семилетнего следствия, в ходе которого их пытали. Приговор был вынесен в июле 1955 г., т. е. через два года после смерти Сталина. А еще через год они были освобождены и полностью реабилитированы.

— Это было несправедливо, но причиной была атмосфера подозрительности. Дело Леховича хотели объединить с делом Спыхальского.

— Спыхальского посадили в мае 1950 г. До этого, в августе 1949 г., вы арестовали Германа Фильда, который приехал в Польшу, чтобы разыскать брата Ноэля, якобы пропавшего, а на самом деле арестованного.

— Дело Фильдов — американских левых — разыгралось в то время, когда уже велось следствие по делу Леховича, Ярошевича и др. Арест Фильда положил начало атмосфере подозрительности, которая распространялась на все страны Восточной Европы и вылилась там в волну массовых арестов. Арестовывали всех, кто знал Фильдов или встречался с ними, а так как Фильды знали многих коммунистов, то число арестованных было огромным. Я тогда был в Москве, вместе с Берутом. На одном заседании, во время перерыва, когда мы остались только втроем со Сталиным, он неожиданно спросил меня об Анне Дурач, сотруднице моего секретариата, невестке Теодора Дурача, известного до войны адвоката, который защищал коммунистов. Я сразу же понял, в чем дело. Анна была в Армии Людовой и, как участник Варшавского восстания, попала в немецкий лагерь. Потом она ездила лечиться в Швейцарию вместе с другими польскими коммунистами. Там их опекал Ноэль Фильд. На переломе 1946–47 гг. Фильд приехал в Варшаву и пытался при посредничестве Анны встретиться со мной. Фильд сказал ей, что хочет обратиться ко мне за помощью, чтобы выяснить некоторые касающиеся его факты. Он поддерживал связь с Коминтерном до 1937–1938 гг. и сейчас хотел ее восстановить. Я не счел целесообразным встречаться с ним, но согласился принять его письмо с разъяснением просьбы.

Это письмо я показал Беруту, но попытки Фильда выяснить ситуацию оказались тщетными. Моя роль ограничилась этим. Но с момента ареста Фильда, когда его обвинили в измене, шпионаже, троцкизме, космополитизме и черт знает в чем еще, и когда его дело „привязали“ к делу Ласло Райка, и даже посадили его на ту же скамью подсудимых, все стало выглядеть очень серьез-

но. Я рассказал Сталину про Анну Дурач, но мои объяснения не переубедили его. Это было, как потом оказалось, моей последней беседой со Сталиным, а Анну вскоре арестовали.

— Из-за вас, правда?

— По личному указанию Сталина, и я ничего не мог сделать. Удар был направлен против меня, и так это было воспринято всеми.

— Почему против вас?

— Stalin, видно, решил, что я его подвел.

— Вы?

— Объяснить это не просто, но только так можно понять, почему его отношение ко мне изменилось. До Сталина, наверное, уже раньше дошли слухи о моей беседе со Ждановым в Шклярской Торенбе, перед созданием Коминформа осенью 1947 г., и о моем предложении заменить слово „коллективизация” словом „артелизация”. Возможно, ему стало известно о чем-то еще, не знаю. Сталину это могло не понравиться, и он, вероятно, решил, что я его в чем-то подвел. А того, кто подвел, можно подозревать во всех грехах, даже в том, что он американский шпион. Тогда уж достаточно мелочи, например, факта, что моя секретарша была знакома с Фильдом. Если это знакомство преподнести еще в соответствующем виде, то все станет совершенно на место.

— Stalin сам это придумал?

— Не знаю. Может быть, прислужники подсунули идею, может быть, Beria. У Сталина все было взаимосвязано, а я был великолепным кандидатом на космополита.

— На кого?

— На космополита. Борьбу с космополитизмом Stalin начал в 1948 г. В то время у них в газетах стали указывать в скобках настоящие фамилии.

— Что, что?

— Просто, когда цитировали какого-то еврейского деятеля с русской фамилией, в скобках печатали настоящую. Это и был сигнал, что его выбрасывают на свалку и что открывается вакантное место.

— Значит, антисемитизм?

— Да, но Stalin называл это борьбой с космополитизмом.

— Stalin был антисемитом?

— Было бы упрощением назвать его антисемитом, но в какой-то степени антисемит дремал в нем. Публично это не проявлялось... Но в 30-е годы в СССР часто вспоминали его высказывания в беседе с американским корреспондентом Еврейского телеграфного агентства. Эта беседа состоялась 18 января 1931 г. Тогда Stalin сказал:

„Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм как крайняя форма расового шовинизма является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма.

В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное советскому

строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью".*

Я не случайно процитировал полностью и точно эти слова Сталина. Можно ли верить сказанному им, когда действительность явно этому противоречит? Вроде бы нельзя. Однако, Сталин, как и другие, очень противоречив.

— *Лжив и фальшив...*

— Нет, это уж слишком упрощенно. Цель историка — выявить и проанализировать корни явления. Почему в некоторых случаях он проявлял полное безразличие, а в других — сверхподозрительность и нездоровую бдительность. Все это свидетельствует о внутренних противоречиях — на грани аномалии, но не о лжи, поддающейся однозначной интерпретации. Только противоречивостью личности Сталина можно объяснить, что, беседуя со мной или с Минцем, он вдруг начинал произносить слова и фразы, пародируя еврейское произношение. А иногда, когда ему что-то было нужно от нас, он становился очаровательным. Только противоречивостью личности Сталина можно объяснить, что с одной стороны, он устранил партийных и государственных работников — евреев, а с другой — дал согласие на создание в 30-е годы автономного еврейского округа в Биробиджане, который впоследствии должен был стать чем-то вроде фундамента будущей Советской еврейской Республики. К этому стремились сотрудники еврейской секции ВКП(б). Они были связаны с еврейским национальным движением, опекали еврейские школы и театр в Москве на идиш — один из лучших в стране; художников, писателей, издательства, распространявшие книги на идиш во всем мире — эти книги пользовались огромным успехом. Они, эти люди, старались сохранить еврейские традиции в их светском, а не религиозном виде. И вначале Сталин эти стремления поддерживал. Забота о еврейской общине должна была продемонстрировать, что в социалистическом государстве пекутся о меньшинствах и даже думают об основании

* И.В. Сталин, Сочинения, т. 13, стр. 28. (Впервые опубликовано в газете „Правда”, 30 ноября 1936 г.).

самостоятельной республики для успешного развития этого меньшинства. Такая тенденция существовала до массовых чисток, жертвами которых стали и многие коммунисты-евреи. Многие погибли, заглохла и деятельность Биробиджана. Округ продолжал существовать, но перестал быть активным. Правда, там издавали какие-то газетки, там были школы и несколько культурных центров, но все увяло, деградировало. В какой-то момент, во время второй мировой войны показалось, что Биробиджан оживает. Оживилась также еврейская жизнь, еврейская печать. Стали заметнее евреи, работающие в русскоязычной печати. Был основан Еврейский антифашистский комитет, и это имело огромное пропагандистское влияние. Stalin хорошо все это понимал. Делегация Еврейского комитета, в которую входила группа писателей, побывала в Америке, где сыграла видную роль в мобилизации помощи голодающему во время войны населению СССР.

— Для этого они и были посланы?

— И это слишком упрощенно. Stalin был заинтересован не столько в деньгах (несколько миллионов долларов проблемы не решали), сколько в обеспечении моральной поддержки Советского Союза в Соединенных Штатах. После победы обстановка стала меняться. Со второй половины 40-х годов подозрительность Сталина постоянно росла. Он повсюду видел врагов и решил, что еврейское меньшинство — лучший опорный пункт американской агрессии. Идея поселения евреев в Крыму, оставленном крымскими татарами* (этую идею выдвинули некоторые видные еврейские деятели), казалась Сталину весьма подозрительной. Крым, считал Stalin, очень удобное место для возможной высадки американского десанта, а евреи — с учетом их семейных международных связей — самый подходящий элемент. Естественной была и эволюция позиции Советского Союза по отношению к Израилю. Коммунистическое движение, как известно, всегда выступало против сионизма и осуждало сионистов, ибо те, используя сионистские иллюзии, старались привлечь на свою сторону еврейские массы. Польские коммунисты тоже боролись с сионистами, иногда даже дрались с ними в высших

* Крымские татары были насильственно выселены со своей земли в мае 1944 г., — Ред.

учебных заведениях. Особо жестокие стычки произошли во время восстания арабов в Палестине. После войны и почти полного уничтожения польских евреев (на территории Польши уничтожали и европейских евреев) сионистские организации, чтобы обеспечить судьбу уцелевших после войны евреев, пытались создать центр, где евреи могли бы жить нормально. Они стремились создать независимое еврейское государство. Сталин одобрил эту идею, особенно потому, что Палестина находилась под оккупацией Великобритании, и создание еврейского государства ударяло по Англии. Я не стану детально анализировать мотивы, обусловившие его решение. Во всяком случае, Советский Союз был среди стран, выступивших за создание Израиля. Израиль был создан. Англия была вытеснена из Палестины. Но и отношение Советского Союза к Израилю быстро изменилось, особенно когда новое государство выявило свой антиарабский характер, аннексировав новые территории. Кое-кто в Советском Союзе стал опасаться, что в связи с существованием Израиля, будет поднят вопрос о двойной лояльности. Тем более, что первым послом Израиля в СССР стала Голда Меир, пользовавшаяся большим влиянием и авторитетом среди советских евреев. Отношения с Израилем охладели, и Stalin выдвинул лозунг борьбы с космополитизмом для отстранения евреев от занимаемых ими должностей. Подозрения усиливались, аресты становились все более массовыми, увеличивалось число судебных процессов. Одной из жертв была жена Молотова — специалист по парфюмерной промышленности, к тому же заслуженный специалист. Однако поскольку в свое время она интересовалась возможностью переселения евреев в Крым и, возможно, одобрительно отзывалась об этой идее, это сочли достаточным поводом — вы понимаете? — чтобы расправиться с ней и сослать в лагерь.

— Я не понимаю, а что Молотов?

— Для него эти репрессии окончились благополучно, он удержался на своем посту.

— Он не защищал ее?

— Зашел в том смысле, что ее сослали в лагерь, а ведь могли и расстрелять, правда? Его, вероятно, заставили развестись с ней, так как он развелся, а после смерти Сталина, когда она вернулась в Москву, они до ее кончины жили вместе.

Относительно мягко расправились с Михоэлсом — выдающимся актером, директором еврейского театра, любимцем публики. Он погиб в инсценированной катастрофе и был похоронен с почестями. Но Михоэлс — исключение. С другими вопросами проще. Их расстреливали по приговору военного суда. Так погиб цвет литературы и еврейской культуры на идиш.

— Давайте назовем фамилии хоть нескольких погибших, среди которых было 238 писателей, 104 актера, 19 музыкантов, 89 художников и скульпторов — расстрелянных или уничтоженных в лагерях: Фефер, Бергельсон, Маркиш. В живых остался Илья Эренбург.

— Эренбург никогда не входил в этот круг. Он не участвовал в обсуждении вопросов, связанных с еврейской республикой. Он был русскоязычный писатель, его статьи военного времени завоевали ему огромную популярность в СССР. Stalin был к нему расположен. То ли потому, что Эренбург вернулся из эмиграции, то ли беспричинно. Stalin иногда любил помогать или оказывать расположение кому-либо из известных писателей и интеллигентов. Он мог позвонить и сказать теплое слово или сделать что-то хорошее. Так было с Булгаковым, которого после долгих лет безработицы Stalin устроил, или с Пастернаком, которому он позвонил, чтобы поднять настроение, когда ему было очень трудно издавать свои произведения. Книги Пастернака, правда, и после этого не издали, но эти поступки Stalin обрастали легендами — о них рассказывали, и эти рассказы располагали к нему общественность. Это Stalin умел делать.

С цветом еврейской литературы он расправился жестоко, не считаясь с общественным мнением заграницей. А ведь перед заграницей хвастали, что вот, мол, в СССР существует процветающий центр еврейской культуры, где издается литература, имеется великолепный театр и т. д. Никто ведь не мог там поверить, что писатель, книги которого он читал, шпион.

— А вы поверили?

— Нет. Конечно, нет. Я знал, что все это вранье.

— И что же?

— Что „и что же”? Ведь все это происходило в обстановке энтузиазма, вызванного окончанием войны и спасением евреев от полного уничтожения. Наши протесты прошли бы незамеченными.

— А вы хотя бы пытались протестовать?

— Нет. Никаких разговоров о борьбе с космополитизмом не было. Да и они не нажимали на нас, не требовали провести такую же кампанию в Польше. Если был какой-то нажим, то весьма скрытый.

— А кто предлагал создать лагеря для космополитов на Мазурах?

— До меня донеслись слухи о таких предложениях, но позже. Возможно, этот слух распускали как сплетню, а не как директиву. Не исключено, что было какое-то секретное решение.

— Лагеря должны были строить солдаты.

— Может быть, слухи пошли от интендантства?

— То есть от Рокоссовского?

— Сомнительно. Правда, отряды снабжения были подчинены польскому командованию, то есть Рокоссовскому, но решения не обязательно проходили через его руки. Все это догадки. Доказательств у меня нет никаких.

— А о строительстве специальной тюрьмы для космополитов вы слыхали?

— Не верю, дикий бред.

— А могло случиться, что вы об этом просто не знали?

— Да, могло. Ведь меня уже подозревали. Моя секретарша была знакома с Фильдом, сам я еврей, и к тому же встречался с делегацией Еврейского антифашистского комитета перед ее отъездом в Америку. Я никогда не скрывал этого, но это не имело никакого значения, потому что всех их обвинили. Тем самым и я превратился в идеального кандидата на роль польского Сланского. Все шло к этому, и неизвестно, чем бы закончилось, если бы не смерть Сталина. Предлогом для обвинения было бы дело Фильдов. Берут проявил характер, стойкость и лояльность по отношению ко мне. Он устоял перед нажимом и защищал меня до конца, несмотря на все попытки Сталина сломить его.

— Каким способом?

— Приведу только один пример. Stalin как-то спросил Берута: „Кто вам дороже — Берман или Минц?” Берут понимал, в чем дело, и что от его ответа зависит судьба одного из нас. Он ответил так, как отвечают дети на вопрос, кого они больше любят — папу или маму. „Они мне одинаково дороги”, — сказал Берут. Были и другие формы нажима, более прямые.

— Какие?

— Не скажу.

— Его пугали, что что-то случится с семьей?

— Нет. Таким хамом Stalin не был. Не следует преувеличивать. Он позволял себе быть грубым; однако в тех случаях, когда знал, что с ним готовы сотрудничать, а Берут сотрудничал, его поведение не выходило за рамки допустимого.

— А Берут боялся?

— Бывало. Но говорить об этом я не буду.

— Его удалось сломить?

Не во всем. В моем случае — нет, хотя все считали Берута сумасшедшим из-за того, что он так упорно защищает меня от обвинений в космополитизме, за которыми должны последовать увольнение и судебный процесс. Для Берута это не было легким решением, но он принял его и противостоял любому давлению.

— Значит, в Польше кампания борьбы с космополитизмом не проводилась.

— Проводилась, конечно. Ведь мы обязаны были подражать Советскому Союзу во всем. Я не раз разговаривал с Берутом на эту тему, и он тоже был против этой кампании, но она все-таки проходила, проникла в Польшу, независимо от позиции руководства. Эта проблема в СССР была поставлена столь остро, что некоторые элементы этой кампании проявились и в речи Гомулки на Объединительном съезде в 1948 г. Незадолго до этого Гомулку пригласил к себе Сталин и провел с ним продолжительную беседу. Содержание беседы мне не известно, но Гомулка там столько услышал о космополитах, что в своей речи он сказал о космополитизме как о реальной опасности. Я пытался полемизировать с ним, разумеется, не называя вещей своими именами, но не всегда удачно, поскольку пользовался я сведениями об Армии Крайовой, которые мне подсунули. В 1949 г. Гомулка сошел со сцены, но борьба с космополитизмом стала частью нашей пропаганды. Однако мы пытались свести ее до минимума, так что таких масштабов как в СССР она не приобрела. В партийной печати этого почти вообще не было, но зато эту линию проводили газеты, издаваемые ПАКСом. В них лица еврейского происхождения критиковались не за их деятельность, а за то, что были евреями. Правда, там никогда не печатали в скобках настоящих еврейских фамилий, но называли их устно. Зерно падало на благодатную почву, поскольку большая часть поляков — антисемиты.

— И это говорите вы?! Вы!?

— Потому что это правда. Мою дочь неоднократно дразнили в школе, называя торговкой селедкой.

— И вы не понимаете, почему?

— Нет, не понимаю. Я, как и Берут, был против того, чтобы слишком много евреев работало в центральных организациях. Я считал это неправильным, хотя и понимал, что это было результатом обстоятельств, когда польская интеллигенция отказалась с нами сотрудничать и объявила бойкот. Но уверяю вас, что в кадровых вопросах я руководствовался только критериями пользы, а не личными отношениями или личной симпатией. Когда я снимал кого-нибудь с должности, то тоже старался сделать это так, чтобы не унизить и не обидеть человека.

— А аресты? На переломе 1948-1949 гг. были арестованы члены созданного при Армии Крайовой Совета помощи евреям (ЖЕГОТА).

— Это правда. Под ударом оказались все, связанные с Армией Крайовой.

— Послушайте, органы безопасности, в которых все или почти все руководящие работники — евреи, арестовывают поляков за то, что во время оккупации они спасали евреев, а вы утверждаете, что все поляки антисемиты! Разве это справедливо?

— Это было неверно, согласен. В то время я не знал, чем занимался Совет помощи евреям. Только потом мой брат рассказал мне, что это была небольшая, но очень активная группа людей, которые, рискуя собственной жизнью, опекали евреев во время войны. Я сам познакомился с женщиной, которая спасла из гетто несколько десятков еврейских детей. Ирена Савицкая, Флешарова, Витвицкий, Ставицкий, супруги Куль, Владислав Бартошевский. В деятельности этого совета принимал активное участие и мой брат Адольф, после того как благодаря помощи членов совета ему удалось бежать из гетто. Потом мы их всех освободили.

— Владислав Бартошевский сидел 7 лет.

— Не знаю, сколько. Но нет сомнений, что он был репрессирован и отсидел свое.

— Но о его освобождении хлопотал Леон Хайн, а не ваш брат.

— Адольф рассказал мне, что представлял собой Совет помощи евреям, лишь много лет спустя. В то время, т. е. в 1950 г., он эмигрировал в Израиль. Он был деятелем Центрального еврейского комитета. К тому времени деятельность ЦЕК подверглась уже серьезным ограничениям, и он понял, что происходит, что возможности что-либо сделать ограничиваются все больше и больше, и он решил уехать из Польши.

— А вы нет.

— Я — нет. Естественно, я интересовался тем, что происходит в Израиле. Я знал там многих, и брат меня уговаривал. Сам он был в полном восторге. Израиль заслуживает внимания. Но я отказался от поездки. Я взвесил все за и против и решил, что нет смысла. В моем случае это не был бы туризм, обычное путешествие. Я счел нецелесообразным создавать себе дополнительную опасность из-за поездки в Израиль или другую капиталистическую страну. Такая поездка была бы расценена совершенно однозначно, и комментарии были бы весьма неприятными. Он был там-то и там-то, встречался с тем-то и с тем-то. И без того говорили много. А через некоторое время уже не стало возможности поехать. После 1956 г. уже не было той свободы.

— Вам не дали бы заграничный паспорт?

— Я не пытался получить его, но, думаю, что не дали бы. Разве только, если бы я решил эмигрировать. Особенно после 1968 г. Но этого я не хотел, я бы никогда этого не сделал.

— Все члены Совета помощи евреям были реабилитированы после 1956 г.

— Конечно, это была группа чрезвычайно благородных людей.

— Всего лишь?

— Поймите, их арестовали на переломе 1949-1950 гг. Я уже до некоторой степени осознавал свое положение и отношение Сталина ко мне. Я понимал, что если я буду вмешиваться в эти дела и вопреки указаниям советских советников стараться что-то изменить, Сталину донесут, как ведет себя Берман. Нужно было либо уйти, либо продолжать маневрировать. Я два раза подавал Беруту заявление об отставке. Не полной, но в области контроля над органами. Я и так руководил огромным числом других ведомств, и работы у меня было более чем достаточно. Но Берут не согласился. Мои отношения с ним были таковы, что я не мог сказать ему „не хочу — и все”. Пришлось остаться и маневрировать. Я ограничивал свое участие во многих делах, старался направлять их другим, я просил Берута принимать решения, а сам занимался второстепенными делами. Иногда отключался от работы органов госбезопасности на несколько месяцев. Но тогда Берут говорил: на кого же мне рассчитывать, если ты не хочешь помочь? Он говорил, что без меня чувствует себя еще более беспомощным, что просит следить за делами, и я возвращался. История рассудит, была ли моя тактика ловкой. Может быть, вернее было бы твердо отказаться от курирования органов, кто знает? Для меня это было бы полезней, но, возможно, решения, принятые без моего участия, были бы еще хуже.

— Потому что на ваше место пришел бы другой — хуже вас?

— Или другой хуже меня, или все легло бы на плечи Берута.

— Радкевич, кажется, тоже подавал в отставку и ушел.

— Такие случаи бывали. Он говорил, что устал, болен. Но дело было не в этом. Он не хотел принимать участия в том, что происходило. Мы колебались — отпустить его или задержать.

— Хотели заменить его Мочаром?

— Да нет, что вы. Кем угодно, но не Мочаром. Он вел себя по-хамски. Его ненавидели все. Мочар уже тогда выставлял на показ свой антисемитизм.

Окончание в следующем номере

Перевод Ежи Беккера

Жорес Медведев

ГОРБАЧЕВ*

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Первый год после прихода Горбачева к власти был отмечен беспрецедентно крупными изменениями в Политбюро и правительстве и быстрым определением экономических целей и методов экономического развития на ближайшие 15 лет. Однако во всех прочих отношениях изменения во внутренней политике были чисто косметическими. Политические акции лучше преподносились, стиль стал более современным, но по существу мало что изменилось. Причина этому не в краткости периода и не в сосредоточенности на экономических задачах. Условия для определения новой внутренней политики были особенно благоприятными в 1985 году. Тогда разрабатывались новые программы и устав партии; долгосрочные экономические программы предоставляли хорошие возможности и было проведено много международных встреч, в связи с которыми публиковались заявления, касающиеся внутренней политики.

При предыдущих сменах руководства новый вождь вынужден был под давлением обстоятельств предпринимать действия, чреватые серьезными идеологическими и международными откликами. Например, Хрущев сместил Берия и объявил о сталинских преступлениях, чтобы предотвратить казнь выдающихся

* Отрывки из книги Zhores A. Medvedev "Gorbachev", W.W. Norton & Company, New York—London, 1986, стр. 208-242.